

## ПОЭТЫ ОТЧАЯНЬЯ

*А я всё хмурю брови  
и лезу напролом.  
Поэзия без крови  
зовётся ремеслом.*

*В.Шемиученко*

Однажды, когда я была в классе восьмом или десятом, отец привёл меня в гости к своему другу Иванову (к сожалению, не помню имени-отчества). Жил он на улице Пугачёвской, совсем рядом со мной. Это был известный в Саратове библиофил, у него была огромная прекрасная библиотека. Я часто брала у него книги, которые нельзя было в то время достать нигде. Однажды Иванов показал нам с отцом самиздатовский сборник стихов – довольно большой фолиант в красном переплёте. Запомнила фамилию на обложке: Ярыгин. Он много читал нам в тот вечер из этой книги. Меня поразила непохожесть этих стихов на те, что тогда публиковались: в них билась и кричала боль, какое-то вывернутое наизнанку отчаянье. Запомнилась строчка: «Бритоголовое ходит страданье...» Поэт этот умер в сумасшедшем доме. Стихи были о том, о чём не принято было говорить и писать, о тщательно скрывавшейся от нас тёмной стороне жизни. Иванов, по-видимому, хорошо знал этого поэта и считал его гением. Бережно хранил каждую его строчку.

– Что же Вы собираетесь делать с этими стихами? – спросил отец.

– Ждать, когда наступит коммунизм, – серьёзно ответил тот.

В то время опубликовать подобное было, конечно, невысказано. Коммунизма Иванов не дождался, умер ещё до перестройки. Судьба стихов Ярыгина мне неизвестна. И сколько таких – подумалось – неизвестных миру ярыгиных дожидаются своего часа. Расхожее утверждение, что талант всё равно пробьётся – от лукавого. Может, пробьётся, как трава сквозь асфальт, а может, закатают вторым слоем. Извечный вздох Некрасова: «Придёт ли времечко, когда – приди, желанное! – мужик домой не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара понесёт?». Так и не пришло это времечко. Как несли блюхеров, так и несут, только называются они теперь по-другому.

Ну откуда эта тяга большинства к «глупым милордам»? Впрочем, понять не трудно. Всякий человек, и особенно уставший и ослабевший от жизненной борьбы, тянется к душевному покою, к упорядоченной картине мира, к чему-то простому, как мычание. И поэт, который не боится стать лицом к лицу с неведомым, разрушает

этот покой. Он вносит в жизнь тревогу, неуверенность, страх. Но в этом и состоит мужество художника, этим он и волнует нас – и за это мы его порой отвергаем.

Обыватель всегда отмахивался от Поэта, улюлюкал над ним, оберегая устойчивость своего образа жизни. Вечный поединок Сокола и ужа, Буревестника и глупого пингвина, прячущего «тело жирное в утёсах». Ужи нутром чувствуют опасность, когда искусство приоткрывает перед ними иной, недоступный для многих уровень духовного существования. Главное стремление обывателя – отвернуться, спрятаться от истины мира, в котором он живёт. И всякий раз, когда истина ему преподносится – он либо отмахивается от неё, либо начинает поэта, преподносящего ему эту – чаще всего горькую – истину – ненавидеть. Он отказывается вслушаться в поэтический голос сердцем – это тяжело, больно, опасно – и начинает проверять его критериями правильного и неправильного, доброго и злого, морального и аморального, одним словом, чёрного-белого.

Стремление к ясности, к благостности, к обязательному позитиву в поэзии – это рецидив прошлого, недавнего социального, утилитарного отношения к поэтическим текстам, когда от стихов требовали, чтобы они приносили пользу, просвещали, утешали, направляли, воспитывали. Поэтическое содержание грубо подменялось социальной задачей. Теперь от поэзии этого, слава богу, никто не требует. Она никому ничего не должна. У неё один долг: быть правдивой и свободной в своём самовыражении. В своём порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству – и тем зажигает в нас огонёк надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт не отводит свой взор от Бездны, что ему знакомы настоящее отчаянье, настоящая тоска, настоящий страх смерти. Поэт приобщает нас к тайнам мироздания. Он не может ничему учить, но он даёт нам пример отваги.

М. Цветаева, М. Шкапская, В. Блаженный, Б. Рыжий, И. Меламед, Е. Блажеевский, О. Бешенковская – это стихи для тех, кто не боится заглянуть в себя, в чёрные дыры души, в свои потайные шкафы в поисках скелетов, не боится правды и боли. Они наполняют нас леденящей, но очищающей тоской. По теории Кьеркегора, отчаяние есть условие человеческого существования.

Почему мы вновь и вновь слушаем музыку, от которой содрогается душа, читаем, забыв о молоке на плите, про разбитые сердца, исковерканные судьбы, смерти, трагическое одиночество? Мало нам своих неприятностей? Есть древнегреческое объяснение: катарсис – нравственное потрясение и просветление через

переживание. Некое возвышенное удовлетворение, духовный оргазм – вот что даёт нам подлинное искусство. Даже самые печальные стихи дают людям счастье, потому что поэзия – это гармония, а каждое стихотворение – аккумулятор энергии, затраченной на его возникновение.

Кажется, нет в нашей поэзии более мрачного и трагического поэта, чем Баратынский («сумрачный гений» – называл его Гоголь), но звуковая гармония его стихов, прекрасное, полновзвучное дыхание едва ли не вопреки воле автора делает их утешительными.

Болящий дух врачует песнопенье.  
Гармонии таинственная власть  
тяжёлое искупит заблужденье  
и укротит бунтующую страсть.

Булат Окуджава верил, что «вечный мир спасут страдания, а не любовь и красота». Он понимал ценность трагического переживания в искусстве: «Поэты плачут – нация жива». Пронзительная, щемящая, проникающая в самую душу интонация его негромких песен: «Девочка плачет – шарик улетел», «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю»... После эпохи официального бодрчества в нашей поэзии появился романтический герой, не похожий на персонажей Багрицкого и Светлова. У тех романтизм был наступательный, победительный, как правило, исполненный исторического оптимизма. А Окуджава был романтик грустный, усмешливый, всё понимающий. Многие не любят грустной или мрачной поэзии, но вот Горький называл вечно смеющихся людей «жизнерадостными эмбрионами».

Мир разделён на тех, кто мучительно чувствует страдания мира и людей, и на тех, кто к этому равнодушен. Томас Манн писал: «Болезнь делает человека человеком, а те, кто хотят его оздоровить – превращают в скота. Дух – вот что отличает человека». «Художник бежит от здоровья», – вторит ему Чичибабин. В данном случае здоровье – это синоним толстокожего жизнелюбия, не способного и не желающего слышать чужую боль.

Марсель Пруст считал, что дарование людей боли – глубже и сильнее талантов людей здоровья. Бодлеру, Достоевскому в промежутках между припадками эпилепсии и прочими срывами удалось создать такое, чего не удалось бы и целому выводку авторов с отменным здоровьем. Обыденное понятие о психической норме и психическом здоровье несовместимо с законами творческого мира. Как писала Мария Шкапская, «куда-то ведут – куда?// слова на спутанном плане. //Безумье и жизнь всегда// на острой, как бритва, грани».

Многие поэты, о которых я рассказываю на лекциях и пишу в своих книгах, отнюдь не отличались оптимизмом. И И.Анненский, такой респектабельный и благополучный с виду – но кто измерит трагедию его души? Вспомните его «мучительный сонет». Волошин называл Анненского «нерадостным поэтом», он даже слово Тоска писал с большой буквы.

И пессимистическая поэзия Георгия Иванова – достаточно вспомнить его «Посмертный дневник», который он вёл в преддверии смерти, где всё проникнуто ядом безысходности. И «трагический тенор эпохи» Блок с его «чёрной музыкой». Мрачный, желчный Ходасевич с его жуткой «Европейской ночью». Или Некрасов, которого К.Чуковский называл «гением уныния».

И Есенин не всегда умилялся берёзкам, но и жаловался: «Друг мой, я очень и очень болен». И Маяковский не всегда пел своё Отечество, но и горько исповедовался: «Грядущие люди, кто вы, вот я – весь боль и ушиб», «это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни».

Брошусь на землю, камня корою  
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая...

А стенания Тютчева в его денисьевском цикле: «Нет дня, чтобы душа не ныла, не изнывала б о былом, искала слов, не находила, и сохла, сохла с каждым днём...»

Любила ты, и так, как ты, любить –  
нет, никому еще не удавалось!  
О Господи! И это пережить...  
И сердце на клочки не разорвалось...

«Страдать нужно, молодой человек, а потом уже стихи писать», – наставлял юного Мережковского Достоевский. Этих поэтов учить страданию не надо. Они знают его азбуку назубок.

Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно, что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Отчего он кричит – им всё равно. Главное, что громко и выразительно. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В.Ходасевич. Между тем каждый стих поэта кричит об ужасе, нестерпимом и безысходном ужасе жизни.

Ведь если вслушаться в неё –  
вся жизнь моя – не жизнь, а мука.

Поэзия И.Елагина, несмотря на свою предельную театральность, сильна не внешним эффектом, а внутренним драматизмом.

И, начиная кидаться  
в прожекторную струю,  
поэт в своих декорациях  
ставит драму свою.

Скорее, покупатель мой, спеши.  
Я продаю товар себе в убыток.  
Не хочешь ли билет в театр души,  
который я зову театром пыток?

Я режиссёра сколько раз просил  
о том, чтоб мне переменили роль.  
А эту исполнять нет больше сил,  
не вынесу я больше эту боль.

«Какая боль ещё разбудит нас!» – прозорливо восклицал в одном из стихов Борис Рыжий.

Будет тёплое пиво вокзальное,  
будет облако над головой,  
будет музыка очень печальная –  
я навеки прощаюсь с тобой.  
Больше неба, тепла, человечности,  
больше чёрного горя, поэт.  
Ни к чему разговоры о вечности,  
а точнее о том, чего нет.

Ирония не спасает. Стихотворная легковесность оправдывается полновесностью страдания.

Ну что ж, что прекрасна погода,  
что души витают, любя –  
всегда ведь находится кто-то,  
кто горечь берёт на себя, –

пишет Рыжий. Но этот кто-то – прежде всего он сам.

Ты меня отпусти, я живу еле-еле,  
я ничей навсегда, иудей, психопат.  
Нету чёрного горя, и черные ели  
мне надежное чёрное горе сулят.

Да, такие стихи тяжело и мучительно читать и слушать, невесело, тягостно, люди часто инстинктивно отгораживаются от негативных эмоций, но нельзя отталкивать от себя в искусстве что-то только потому, что это причиняет нам боль. Это должно причинять боль, иначе оно не имеет права называться Этим. И надо уметь слышать чужую боль, учиться её слышать. В этом предназначение поэзии. Это входит в необходимый труд души, о котором писал Заболоцкий.

Истинная поэзия всегда трагична. Поэтому словосочетание «трагический поэт» тавтологично и бессмысленно. Поэт и есть сама трагедия, как бы внешне благополучно ни складывалась его жизнь.

И мне не нужно инквизиции,  
когда и так на Страшный суд

стихи с истерзанными лицами  
предсмертный крик мой отнесут.  
(Л.Губанов)

Я умственный, конечно, инвалид.  
Черты безумия во мне преобладают.  
Как ни корми, душа моя болит,  
когда другие жизни голодают.  
(Ю.Мориц)

Как писал А.Кушнер, «исторически эти невроты //объясняются болью за всех, //переломным сознанием и бытом//, эти нервность, и бледность, и пыл, //что неведомы сильным и сытым».

«В роскошной бедности, в могучей нищете //живи спокоен и утешен», – вспоминается воронежский Мандельштам. «Это я, обанкротившись дочиста, уплываю в своё одиночество», – вторит ему И.Елагин. Красота поражения. Роскошь нищеты. Музыка неудачи. «Сильным и сытым» хозяевам жизни, растающим в неё всеми четырьмя копытами, этого не понять. Это хорошо понимала Татьяна Бек:

У меня сарафан, у меня босоножки без пяток  
и могучая странность – выпаривать счастье из бед.  
...Да, была горемыкой. Но если рассмотрим остаток –  
он блажной, драгоценный и даже прозрачный на вид.

Понимал Бродский:

Как велики страдания твои.  
Но, как всегда, не зная, для кого,  
твори себя и жизнь свою твори  
всей силою несчастья своего.

И не надо бояться грусти. «Грусть мира поручена стихам», – писал Г.Адамович. Ему принадлежит одно из лучших определений поэзии, которые я когда-либо читала. «Какими должны быть стихи?» – пишет Адамович. А вот какими: «Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы всё было понятно и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а всё вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?» И вообще, чтобы человек как будто пил горький, чёрный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвётся».

«Прекрасные стихи несчастий не боятся, //не портят слёзы их, безумье им идёт, как сладкий дух акаций», – пишет А.Кушнер. «Чуть-чуть они горчат – не стоит огорчаться...».

Поэт – всегда явление трагическое. А не те, кто играет в литературу. Какая там к чёрту игра! Это игра на разрыв аорты. «Мы не врачи, мы боль» (Герцен). «Душа моя печальница» (Пастернак). «Мир раскололся, и трещина прошла через сердце поэта (Гейне). А то, что порой выдаётся за гармоничность мироощущения – нередко не что иное как толстокожесть и равнодушие. Вот сделайте мне красиво, а до остального – мрачного и больного – мне нет никакого дела. Но жизнь вовсе не так благостна, как нам бы хотелось, она всякая бывает, и надо иметь мужество видеть и другую, тёмную сторону бытия.

Но эта грустная, горькая, тоскливая поэзия, которую раньше клеймили словом «упадочная», дороже дешёвого жизнелюбия иных авторов, не оплаченного ни страданием, ни болью, ни отчаяньем – оттого оно немногого стоит. «Он покупает неба звуки, он даром славы не берет», – сказал Лермонтов о поэте. И цена бывает непомерно высока. «Дело поэта, – писал Г.Иванов, – создать кусочек вечности ценой гибели всего временного – в том числе нередко и ценой собственной гибели».

Мучения души присущи всякому истинному поэту любых времён и эпох. Но поэзия, как бы она ни была трагична и мрачна, дарит нам наслаждение своим фонетическим, интонационным, завораживающим обликом. Таково её свойство. Даже А.Кушнер, один из самых наших светлых и оптимистичных поэтов, о котором я рассказывала в своём эссе под названием «По здешнему счастью специалист», пишет: «Пространство стиха не обязательно должно быть залито светом. Ещё лучше, если оно погружено в полутьму. Плох только нарочитый, ни за что не отвечающий, кокетливый мрак». То есть не настоящее, не подлинное страдание, а рисовка, поза, игра в него – вот что недопустимо в поэзии. Сам же мрак имеет такое же право на существование, как и свет. Это как день и ночь. Свет не существует без тьмы, иначе ты не сможешь определить его как свет. Пастернак писал: «Я себе представить не могу //жизни, из которой сумрак вынут». И у Баратынского: «Две области – сияние и тьмы – исследовать равно стремимся мы». И солнечный дневной мир Пушкина был дополнен в нашей поэзии ночным, тёмным миром Баратынского и Тютчева.

«Я – пессимист в седьмом колене», – мрачно шутил Б.Рыжий. И доказал это своим самоубийством. Вместо посмертной записки на письменном столе в его комнате лежал томик А.Полежаева, раскрытый на стихотворении «Отчаяние»:

О дайте мне кинжал и яд,  
мои друзья, мои злодеи!  
Я понял, понял жизни ад,  
мне сердце высосали змеи!..  
Смотрю на жизнь как на позор –  
пора расстаться с своенравной  
и произнести ей приговор  
последний, страшный и бесславный!

Ортега-и-Гассет писал, что жизнь представляется ему в виде кораблекрушения: взмахи рук тонущего человека – это и есть культура, во взгляде этого человека – вся правда жизни. «Я верю только идущим ко дну!» – заявил он. Но само по себе творчество – это уже есть отрицание смерти, – говорил А.Тарковский. «Поэтому не может быть художника-пессимиста и художника-оптимиста. Есть только талант и бездарность».

Поступать, как все, жить по прописям – губительно для художника. Несчастливое счастье поэта позволяет ему жить, любить и умирать по иным законам, по которым не может существовать человеческое большинство. Судьба поэта – не в его жизни, она – в его творчестве. «Корень жизни – в стихах, – записывал в дневнике Блок. – А жизнь – это просто кое-как». («Остальное – неважно», – вспомнилось название последней книги стихов М.Борцовой). Как это ни ужасно звучит, но поэту хочется пожелать, чтобы ему жилось не лучше, а хуже. «Чем хуже – тем лучше, чем хуже – тем лучше!» – как заклинание, повторяла в стихах М.Петровых. «Одной надеждой меньше стало – одною песней больше будет», – писала А.Ахматова. Та высокая нота, которую может взять поэт – всё искупит и всё оправдает.

Поэту всё во благо, всё впрок. Только перегорев в огне своих бед и страстей, переплавив всё это в золото строчек, он становится тем, кем остаётся в благодарной памяти потомков. Как говорила Цветаева: «А зато... А зато – всё».